

## ТОМАС ГОББС О ПОЛИТИКЕ И ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

(Перевёл с немецкого языка Владимир Абашник)

### АНОТАЦІЯ

У статті представлена оригінальна позиція розуміння вчення Томаса Гоббса про державу. Спочатку в історичному контексті проаналізовано поняття політики Томаса Гоббса. На завершення вказано на роль філософії мови в розвитку вчень про державу та суспільство.

**Ключові слова:** Томас Гоббс, Левіафан, політика, філософія мови.

### АННОТАЦИЯ

В статье представлена оригинальная позиция понимания учения Томаса Гоббса о государстве. Сначала в историческом контексте проанализировано понятие политики Томаса Гоббса. В завершение указано на роль философии языка в развитии учений о государстве и обществе.

**Ключевые слова:** Томас Гоббс, Левиафан, политика, философия языка.

### SUMMARY

In the article the original position of the understanding of the Thomas Hobbes' state theory is presented. At first Thomas Hobbes' concept of the politics in historical context is analyzed. Finally the role of the philosophy of language in the evolution of the theories of state and society is pointed out.

**Keywords:** Thomas Hobbes, Leviathan, politics, philosophy of language.

Томас Гоббс известен как отец-основатель новой науки о политике. Его главное внимание было нацелено на политику, процессы рационального обоснования постоянных институтов, а тем самым – стабильного мирного порядка. Тем не менее, его можно еще отнести и к классикам философии языка, поскольку в языке он видел последнюю обоснованную систему, исходя из которой можно методически реконструировать грамматику остальных «порядков» в обществе. Вероятно, ни у кого не вызывает сомнений то, что Гоббс так действительно посвятил себя такой закладке оснований, поскольку у него так живо стояла перед глазами действительность идеологически-стратегического использования языка в общественных (вероятно, также как и в академических) дискуссиях. Он был одним из первых, кто открыл факт взаимосвязи успешной политической деятельности со своего рода монополярным захватом и распределением ключевых понятий в общественном дискурсе, для того чтобы, таким образом, путем исключения определенных истолковательных альтернатив направить формирование мнения в определенное русло.

Гоббс изначально относился с неудовольствием к политическому злоупотреблению языком. Он надеялся благодаря очищению использования языка, рационализации и настаиванию на его однозначном употреблении достичь прозрачности, которую бы имела рациональная политика. Соответственно, он сформулировал и свое отношение к риторике – сначала крайне отрицательное. Ведь посредством риторики можно политически использовать необозримую путаницу в положении дел и страстей, а также партикулярные интересы через всепроникающую семантику в корыстных целях для властно-стратегических намерений. Лишь со временем и по мере возрастания понимания не-рациональных условий процессов понимания и взаимопонимания у Гоббса возникла большая заинтересованность в отношении риторики. Это вопрос осветил Д. Джонстон в своем детальном сравнении его обоих главных политико-теоретических сочинений – «О гражданине» и «Левиафан» [1].

Поскольку Гоббсу стало очевидным, что нельзя полностью исключить страсти человека, а в лучшем случае можно только ути-

хомирить, и что даже самый рациональный проект миротворческой политики сначала еще необходимо убедительно воплотить, «апеллируя» в том числе и к взволнованным страстям человеческого духа, то в «Левиафане» он сам применил риторику в достаточном объеме и пользовался языком метафор, с помощью которого он вышел далеко за пределы той терминологии, которая соответствовала бы методу *more geometrico* в самом строгом смысле [2]. Кое-какие факты говорят в пользу того, что Гоббс полагал, что сила визуального, «говорящих» картин все же обладает большим влиянием, нежели сила пропозиционального или предписывающего аргумента, несмотря на то, что для него было важным доказательство того, что сила объяснения философского дискурса является далеко идущей и более основательной. Политическая метафорика достигает уровня того бессознательного индивидуальных и коллективных движущих сил страха и надежды, которые нельзя усмирить на длительный срок с помощью чистого разума калькулирующей в рамках конструктивной науки. Гоббс, который делает весь упор на «*faculty of solid reasoning*», приводит в конце «Левиафана» следующую формулировку (а): «Если не добавить убедительного красноречия, которое повлияет на внимание и согласие, то воздействие разума будет незначительным» [3] («Левиафан», Обзор и выводы).

Философия языка Гоббса остается связанной с теорией деятельности и учреждений. Наихудшие политические волнения и беспорядки Гоббс сводит к нечистому использованию языка и к умышленному демагогическому искажению языка. Его исследования по внутренней структуре языка являются в этом отношении не философской самоцелью. Они скорее необходимы для того, если хотите, чтобы осознать, как необходимо вмешаться в функциональные взаимосвязи языка, для того чтобы успешно санировать политические отношения.

Гоббс подчеркивает: «...истинными и ложными являются определения языка, а не вещей. А там, где нет языка, нет ни истинности, ни ложности» [4] («Левиафан», глава 4). Языку присуща возможность целесообразного, соответствующего истине употребления так же, как и возможность неосознанной подмены истины, а также возможность отсутствия того

разумного расположения, из которого следует затем возможность стратегической манипуляции мышления других, в смысле уже упомянутой функционализации языка относительно чистого интереса к господству. Язык для Гоббса принципиально является инструментальным. Сначала он служит для расширения власти человека, но ни в коем случае автоматически не для его улучшения [5] («О человеке», глава 10,3). Слова теперь есть «счетные камешки умных» и «деньги дураков» [6] («Левиафан», глава 4).

В историческом опыте своего времени Гоббс рассматривал себя в особенной конфронтации с политической пропагандой, которая пыталась с помощью религиозного словарного запаса достичь повышения своей эффективности. Целая четвертая часть «Левиафана» под названием «О царстве тьмы» свидетельствует об этом злоупотреблении языка и анти-стратегии Гоббса [7]. В те бурные времена для Гоббса было важным связать состояние государства с рационально обоснованным благоразумием. Поэтому он полагал уместным (если назвать пример, который сегодня для нас кажется бессмысленным) даже протестовать и выдвигать политические возражения против чисто литургического обычая осуществлять богослужение на иностранном языке; поскольку Гоббс предчувствует политическое одурачивание народа там, где религия «приглушает их [людей] рассудок странными и трудно понимаемыми словами» [8] («Левиафан», глава 29).

Ярким примером Гоббса в отношении злоупотребления понятий, которое практикуется в политической действительности и традиционной теории, и которое только лишь скрывает соответствующие нелегальные амбиции, является обозначение короля как «тиран» [9] (там же): «Потому что все, кто недоволен монархией, называют ее тиранией, а те, кто не ценит аристократию, называют ее олигархией, а те, кто раздражены демократией, говорят об анархии...» [10] (там же, глава 19). Другим примером такого употребления языка, за которым скрываются властные амбиции, является использование слова «совесть». Это весомое слово, заслуживающее внимание как моральная инстанция, в конце концов, используется всегда в «переносном значении» для обозначения собственных скрытых деяний и

мыслей», которые благодаря этому должны укрываться от общественного дискурса, в котором их можно было бы перепроверить. Таким образом, Гоббс видит, что, апеллируя к этому, требующему уважения слову «совесть» можно увести внимание с помощью обмана от «несостоятельности собственных мнений» [11] («Левиафан», глава 7). О том, как Гоббс вовлекает такую критику языка и в свое написание истории, свидетельствует следующее предложение из хроники гражданской войны: «И туловище взяло себе имя парламент, потому что оно было наиболее удачным для его цели» [12] («Бегемот, или Долгий парламент»).

Гоббс настоятельно бичует использование слов в переносном значении, поскольку за этим всегда можно предполагать намерение ввести в заблуждение: «Человек может также, если он это соблаговолит – но благоволит он это всегда, когда он считает, что это предпочтительно для его намерений – научать умышленно ложному, то есть лгать и делать людей нерасположенными к условиям общности и мира» [13] («О человеке», глава 10, 3, или ср. также «Левиафан», глава 4).

Повседневный язык – Томас Гоббс говорит о возможностях понимания «простолюдина» – фигурирует у него, таким образом, как своего рода анти-элитарная критическая инстанция, которая конечно имеет натянутые отношения с методически контролируемым научным выражением в языке и которая, в конце концов, подчиняется этому процессу рационализации: «Это не является универсалистским определением духовных лиц и философов, которые приписывают авторитет словам, но всеобщим для тех, которые признают, что они их понимают» [14]. Для того, чтобы укрепить защиту этой инстанции «повсеместного всеобщего употребления языка» против возражений Гоббс дополнительно апеллирует к антропологической аксиоме врожденного естественного разума, которая, естественно, имманентно уже не вызывает сомнений: «Человек рождается со способностью правильно мыслить по истечении определенного времени и после приобретения опыта; эта способность присуща человеку от природы, даже если ее не тренировать, то человек будет правильно мыслить, поскольку он мыслит; хотя, конечно, благодаря хорошей тренировке человек будет правильно мыслить в отношении

большого количества и различных вопросов» [15]. Конечно, до тех пор, пока он действительно думает – поскольку Гоббс не оставил незамеченным то, в какое невежество и в какие ограниченные страсти действительно эмпирически впутано «большинство людей» [16] («Левиафан», глава 5)

Можно «запутаться в словах как птица в силке» [17] («Левиафан», глава 4). С точки зрения жизненного мира язык является для Гоббса «подобным паутине – более слабые духом зависают в словах и запутываются в них, а более сильные легко прорываются» [18] («О теле», глава 3, 8) Таким образом, Гоббс регистрирует комплекс обыденного языка, который кажется непроницаемым и наполненным эмоциями, с намерением вмешаться в него. Привычка индивидуумов «выражать именами не только вещи, но одновременно и собственные страсти, любовь, ненависть, гнев и т.д.» [19] («О гражданине», глава 7,2) вызывает у него критику. В зависимости от склонности и интересов один называет «мудростью то, что другой страхом, один жестокостью, то что другой справедливостью, один достоинством, то что другой обозначает глупостью и т.д. А поэтому такие названия никогда не могут быть истинным основанием мышления» [20] («Левиафан», глава 4). В обнаруженном эмпирически употреблении языка страсти определяют тайком суждения, являющиеся якобы рациональными и этическими; потому что люди стараются называть хорошим или плохим то, что они индивидуально желают или презирают. «Поскольку слова «хороший», «злой» и «презрительный» употребляются всегда в отношении лица, которое их использует, поскольку нет ничего, которое вообще и само по себе есть таким» [21] («Левиафан», глава 6). Общественные интересы и потребности, обычные и разрушенные формы интеракции подчиняют соответствующую систему символов процессам преобразований, в которых разыгрываются процессы забывания и вытеснения, так же как и инновативные ориентировочные процессы. В ходе того, что говорящие друг с другом имеют возможность умозрительно представлять привычные языковые игры, на основании которых они понимать друг друга, становится очевидным, что возможности исторического языка вовсе не описаны исчерпывающе соответствующим заданным обыденным языком.

В человеке как естественной двигательной системе структура стимулов, самодистанцирование и целевая рациональность представляют собою компоненты, относящиеся к естественной структуре этого жизненного существа, бытие которого заключается в непрерывном, по возможности беспрепятственном движении; но при этом первоначальная целенаправленность вовсе не нацелена прямо на это движение как движение жизни. Гоббс при случае сводит задатки человеческой природы к четырем видам – физическая сила, страсть, опыт и разум [22] («О гражданине», глава 1). Отсюда Гоббс выводит то, почему опыт, страсть и физическая сила, если они станут решающим фактором, могут быть опасными для самосохранения, и почему среди этих четырех способностей привилегию должен получать разум.

Если необходимо устранить нивелирующее равноправие и равнодушие всего знания о чем-то, которое соотносится с полностью равнодушным впечатлением вещей, включая физическую реакцию, и если сфера объектов знания должна быть упорядочена в смысловом отношении, то необходимым является принцип порядка. В соответствии с каким принципом удалось бы отличить истинную потребность от ложной? Что из множества новостей и информации заслуживает того, чтобы стремиться к нему и узнать его? Здесь Гоббс затрагивает те проблемы, которые занимали уже Сократа-Платона в дискуссиях с софистами. Как известно, Платон утверждал, что от бытия самой души зависит то, обернется ли использование извлеченного (или иными словами, удовлетворение потребностей) для человека в его пользу или нет. Даже ранний Гоббс в «Элементах закона» на этом месте присягает еще добродетели серьезного и постоянного, которое помогает направлять жизнь на первостепенную цель и ориентировать на это все остальные мысли [23] («Естественное право и всеобщее государственное право в изначальных основаниях», глава 10,6).

Тем не менее, Томас Гоббс осознавал и то, что будет вообще безнадежным надеяться на то, что человек «сам по себе» будет в силе придать своей жизни такую принципиальную ориентировку на уровне социального договора. Лишь только разумные граждане разумно устроенного коллектива могут надеяться на

такую рационализацию своего тут-бытия. Существование в виде лояльного гражданина государства дает единственный шанс на закрепление такого тут-бытия. Тем не менее, оно вовсе не защищает Я автоматически и одновременно от возможностей оппортунистической и конформистской само-потери. Поскольку даже будучи гражданами, люди находятся в опасности «апеллировать от привычки к разуму, и от разума к привычке в зависимости от того, что им как раз подходит, хотя при этом они избегают привычки, если того требуют их интересы и противоречат разуму, как только он говорит против них» [24] («Левиафан», глава 11).

Первоначальное благоразумие, которое привело к обоснованию государства (как известно, ради гарантированной и способствующей счастью жизни) в установившемся государстве может потерять жизненную и созидательную силу и пострадать от коррумпированности как раз тех благ, ради достижения которых и ради которых отказались от «солиптической автономии» естественного состояния! «Счастливые блага, то есть богатство, знатное происхождение, политическое влияние изменяют дух до определенной степени. Потому что благодаря богатству и политическому влиянию помыслы становятся обычно более высокомерными. Тот, кто имеет большую власть, требует, чтобы ему было позволено большее; тогда всё больше склоняются к тому, чтобы причинить другому несправедливость, и менее склонны подчиняться одинаковым законам вместе с теми, кто обладает меньшей властью» [25] («О человеке»). Поэтому, согласно Гоббсу, необходима политико-педагогическая напоминательная работа, о которой должно позаботиться государство (для этой цели Гоббс выступает за пересмотр университетских учебных содержаний), и которая делает актуальными разумные аспекты того изначального благоразумия, которое позволило и способствовало обоснованию государства, со всеми последующими индивидуальными отказами от чего-то.

Относительно необходимости авторитарно гарантировать договоры, включая угрозу применения силы, Гоббс убедительно заявил, что договора без меча останутся словами. В тоже время в отношении того измерения основания сообщества Гоббс раздумывает

над принципиальной формулировкой, что без языка «не было бы среди людей ни государства, ни общества, ни договора и мира, – как и среди львов, медведей и волков» [26] («Левиафан», глава 4) Поэтому Гоббс обозначает величайшим благодеянием языка то, «что мы можем приказывать и понимать приказания» [27] («О человеке», глава 10,3).

Из этого всего комплекса Гоббс вполне понятно выводит полномочие суверена на четкое определение обязательной для всех граждан терминологии, особенно в этическом и политическом отношениях. В силу своего авторитета суверен осуществляет обязательность использования его понятий «справедливый» и «несправедливый», «хороший» и «плохой». Можно конечно сказать, что семантика выражений мой-твой есть в общении индивидуумов и до основания государства, но гарантия их употребления осуществляется только лишь государством. Легальные определения – например, что считается собственностью, когда убийство является убийством, когда связь есть брак и т.д. – есть, конечно, «свободные изобретения», но лишь после того, как они выводят в причинном отношении порядок мира, они придают рациональную форму естественно заданным отношениям сил и побуждениям. Изобретения человеческой силы воли создают реальность. Тем не менее, о бытие этой реальности нельзя рассуждать независимо от искусственно-технического процесса формирования «государства». Таким образом, для Гоббса вопрос об остающемся различии фактов и ценностей является несостоятельным, поскольку только лишь через слова суверена ценности становятся фактами, собственно фактическими имманентными конструкционными правилами искусственного тела «государство» [28].

Возьмем, к примеру, факт того, что человек погиб из-за/через другого человека. Идет ли здесь речь об убийстве? Об умышленном убийстве? О честной дуэли? О дозволенной самозащите? О санкционированном осуществлении смертного приговора? О легальном военном действии? Суверенно определенная политико-правовая семантика предписывает обязательные рамки истолкования, только лишь в пределах которых Я, зависящее от разумного самоконтроля, пользуясь признанием, может заниматься своим самоосущест-

влением, не боясь потерпеть перманентную неудачу, неудачу в отношении антагонизма индивидуальных определений того, что для меня соответственно есть «хорошим». Обязательность определенной политической семантики в строгом смысле слова не может быть описана просто как «хороший», потому что здесь речь идет об условии возможности придания слову «хороший» всеобщего смысла.

Если государство уже основано, то государственная монополия на определения и интерпретации предотвращает подрыв легитимности и стабильности институтов путем введения соблазнительной терминологии. Тем не менее, очевидно, что этот политический номинализм покоится на уже частично функционирующих «языковых играх», которые, поскольку они частичны, могут всегда переходить в конфликты. Как известно, последнюю гарантию нельзя получить ни из разума отдельного человека, ни из разума некоторого количества людей, с целью того, чтобы определенная перспектива деятельности или правило, которые выдаются за разумные, действительно были бы разумными. А так как человек среди всех живых существ является единственным, которому можно поставить в вину что-то вроде «привилегии глупости» [29] («Левиафан», глава 5), а поэтому нельзя исключить ошибки и заблуждения даже среди самых умных, то Гоббс выставляет суверена как судью, как конкретный справедливый разум и доверяет ему задачу заботиться о прозрачности и свободе конфликтов языковой коммуникации. Он должен предотвращать попытки отдельных людей или групп и «инстанций» с помощью мотивированного узурпаторскими намерениями введения идеологических языковых правил подвергать угрозе равновесие мира.

Говоря конкретно, если определенные круги, пользующиеся влиянием в обществе, используют средства информации для продолжения спора о порядке собственности и говорят о «воровстве» и «грабеже» там, где согласно государственному порядку имеет место легальное владение собственностью, или, когда они говорят об «убийстве», если кто-то принимает решение или предпринимает действие, которые не запрещены законом, то это тенденциозно наносит угрозу политическому миру, поскольку речь идет об обвинении граждан, лояльных в уголовных поступках.

Для Гоббса, который сам был истерзан гражданской войной, было ясно, что если такие методы будут эскалированы, то они могут подорвать правопорядок.

Всегда сохраняемое Гоббсом различие между мышлением как *mental discourse* и его изложением в *verbal discourse* можно, между прочим, просматривать вплоть до самой внутренней структуры конструкционной рациональности «Левиафана». Исходя из казалось бы полностью неполитического фундаментального различия, Гоббс может защищать свободное мышление гражданина в государстве от инквизиторских пожеланий контроля суверена. Собственно говоря, его задача заключается единственно в сохранении публичного использования языка. Так называемое «внутреннее мышление» человека, то есть также все то, что взаимосвязано с верой как субъективным актом, «не подчинено» приказам суверена [30] («Левиафан», глава 26). Лишь Бог мог бы призвать человека к ответственности за мысли и помыслы, которые не обретают своего завершения в поступках [31] (там же, глава 27). Следовательно, обязательство послушания суверену ограничивается тем, «...что я не должен объяснять ему словом и делом, что я ему не верил, это обязательство меня не обязывает мыслить как то по-иному, нежели к чему побуждает меня мой разум» [32] (там же, глава 32).

Эти политико-теоретические пояснения необходимо рассматривать как первостепенные, поскольку институт «государство» структурно является условием возможности института «наука», хотя основание института «государство» и обязано научному методу. Томас Гоббс находился под систематическим давлением того, чтобы не только развить стратегии для очищения в определенной степени функционирующих обыденных языковых игр, но и вообще принципиально прояснить отношение рациональности и языка, еще до всех общественно-теоретических функциональных анализов. Потому что «...легко увидеть, что мы во многом обязаны языку, благодаря которому мы живем едино, беззаботно, счастливо и спокойно согласно договорам» [33] («О человеке», глава 10,3). В отношении не-интенциональных искажений дискурса, можно почти сказать, что Томас Гоббс вынужден добавить: «...или можем жить так, как мы желаем».

Некоторые сбитые с толку интерпретаторы отмечали, что Гоббс аргументирует так, что иногда создается впечатление – организованное общество является предварительным условием образования общего языка, а затем так, что рационально контролируемый общий язык является предварительным условием для создания организованного общества.

#### ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

1) D. Johnston, *The Rhetoric of Leviathan. Thomas Hobbes and the Politics of Cultural Transformation*, Princeton, 1986.

2) H.-D. Metzger, *Die Bedeutung des Leviathan. Politischer Mythos oder politischer Begriff?*, in: *Hobbes-Studies*, V (1992), S.23-52. Ders., *Thomas Hobbes und die Englische Revolution*, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1991.

3) Hobbes, Thomas, *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates*, hg. u. eingel. v. I. Fetscher, uebers. v. W. Euchner, Berlin/Neiwied 1966 (Neuaufgabe Frankfurt a.M. 1984), S.535. В дальнейшем цит. как *Leviathan*.

4) *Leviathan*, S. 27-28.

5) Hobbes, Thomas, *Vom Menschen. Vom Buerger*, hg. u. eingel. v. G. Gawlik, Hamburg 1959, S. 18. В дальнейшем цит. как *Vom Menschen*, или *Vom Buerger*.

6) *Leviathan*, S. 29.

7) К желаемому или неумышленному неправильному упорядочению понятий из трех классов «bodies», «accidents» и «names» см.: R-Peters, *Hobbes*, London 1956, S. 136; M. M. Goldsmith, *Hobbes's Science of Politics*, New York/London 1966, S.7 f. Особенно детально «таблицу истин» исследовал С. Моррис Энжел в главе 5 «De Corpore», т.е. упорядоченность различных классов слов с абсурдными последствиями. Ср.: Engel, *Hobbes's «Table of Absurdity»*, in: *Hobbes-Studies*, ed. by K.C. Brawn, Oxford 1965, S. 263-273.

8) *Ibid.*, S. 251; 9) *Ibid.*, S. 249 f.; 10) *Ibid.*, S. 145; 11) *Ibid.*, S. 50.

12) Hobbes, Thomas, *Behemoth oder das lange Parlament*, Anhang zu: J.Lips: *Die Stellung des Thomas Hobbes zu den politischen Parteien der grossen englischen Revolution. Mit einer Einf. v. F. Toennis*, Leipzig 1927, S. 244.

13) *Vom Menschen*, S.18, vgl. auch *Leviathan*, S. 25f.

14) Hobbes, Thomas. The English Works, ed. W. Molesworth, 11 vol., London 1839-1845 (Nachdruck Aalen 1962), S. 297.

15) Ibid., S. 389 f.; 16) Leviathan, S. 36; 17) Ibid., S. 28.

18) Hobbes, Thomas, Vom Koerper, ausgew. u. uebers. v. M. Frischeisen-Koehler, Hamburg 2. Aufl., 1967, S. 32.

19) Vom Buerger, S. 149; 20) Leviathan, S. 31; 21) Leviathan, S. 45; 22) Vom Buerger, S. 1;

23) Hobbes, Thomas, Naturrecht und allgemeines Staatsrecht in den Anfangsgruenden,

hg. v. F. Toennis, Berlin 1926 (Nachdruck Darmstadt 1976), S. 80;

24) Leviathan, S. 79; 25) Vom Menschen, S. 13; 26) Leviathan, S. 24; 27) Vom Menschen, S. 17;

28) M. Bertman, Hobbes. Language and the Is-Ought, in: Hobbes's Science of Natural Justice, eds. C. Walton and P. Johnson, Den Haag 1987, S. 99-109; S. 107;

29) Leviathan, S. 33 f.; 30) Ibid., S. 219; 31) Ibid., S. 223; 32) Ibid., S. 286; 33) Vom Menschen, S. 17.

### Примечание переводчика

а) Поскольку профессор Клаус-Михаэль Кодалле часто использует не целые предложения из сочинений Томаса Гоббса, а только части, причем согласовывает их перевод на немецкий язык с правилами и грамматикой немецкого языка, то все цитаты из работ Томаса Гоббса в данном переводе приведены с немецкого языка, за исключением двух, которые переведены мною с английского языка с 11-томного лондонского издания сочинений Гоббса (1839–1845). Для ориентации в конце каждой цитаты или ссылки автора данной статьи на сочинения Томаса Гоббса в (круглых скобках) я подаю название работы Томаса Гоббса и номер соответствующей главы, например, («Левиафан», глава 4).

